

М 14020

ИНСТИТУТ К.МАРКСА И Ф.ЭНГЕЛЬСА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА



III

1 9 2 7

D-85

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

№ 127
ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

(ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА)



III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1927 ★ ЛЕНИНГРАД

„Дом Плеханова“

№ 243

А. ВОДЕН

НА ЗАРЕ «ЛЕГАЛЬНОГО МАРКСИЗМА»

(Из воспоминаний)

Редакция «Летописей Марксизма» выразила желание, чтобы я представил воспоминания о генезисе полуполегалного русского марксизма 1890-х годов, о членах группы «Освобождение Труда», а главное, — о том, что именно говорил мне Энгельс в 1893 г., когда я имел честь и счастье быть у него в Лондоне.

Выполняя это задание, я — по причинам самоочевидным — воспроизвожу свою долю в разговорах с этими лицами лишь постольку, поскольку без этого была бы неясна связь. Но для того, чтобы читатель мог представлять себе их собеседником не абстрактного интеллигента эпохи перехода от народничества к марксизму, а человека с моим тогдашним кругозором, я резюмирую ход моего умственного развития и перечисляю мои выступления в Петербурге в 1889—1891 годах.

I

До отъезда за границу

Новгород-Северская гимназия. — Прочтение первого тома «Капитала». — Переписка с Русседем и с Плехановым. — Петербургские кружки. — И. В. Богословский, П. Б. Струве, Р. Э. Классон. — Дебаты в аудитории Свешникова. — Чтения по Туну. — Похороны Шелгунова. — Первое мая 1891 г.

Я рано услышал о «хождении в народ» и о некоторых — прямых и косвенных — его результатах благодаря глубоко запечатлевшемуся в моей памяти обыску у моей матери (двоюродной сестры эмигранта Русселя) и благодаря разносторонним комментариям к этому эпизоду, превратившему мои обычные занятия.

Во второй половине 1870-х годов мой отец был врачом в Клинцах (Черниговской губ.). Его часто вызывали для оказания помощи — нередко хирургической — фабричным рабочим, и я слышал объяснение большей части этих несчастных случаев на фабриках корыстолюбивым клинцовских фабрикантов и отсутствием в России фабричного законодательства. Поэтому мне не пришлось переживать ломки, сопряженной с отрешением от наивной идеализации капитализма.

Я избегал и ломки в религиозных воззрениях: мне рано поставили на вид, что содержание «священной истории» составляют поэтические легенды.

Новгород-Северскую гимназию я окончил (в 1889 г.) с золотой медалью; но весь строй школьного преподавания внушал мне едва скрываемую антипатию, особенно с тех пор, как я, основательно подготовившись к экзаменам на аттестат зрелости за два года до окончания гимназии, узнал, что это воспрещено особым циркуляром министерства народного «просвещения».

Добившись — еще в низших классах — умения читать à livre ouvert латинских и греческих авторов, я принялся за новые языки и при поступлении в университет читал интересовавшие меня французские, немецкие и английские книги, все реже

прибегая к словарям. Летом 1887 г. я нашел у знакомых комплект «Современника», а затем и очень хороший подбор французских писателей XVIII и XIX веков.

Осенью и зимой 1887 г. я проштудировал несколько курсов статистики и готовился к заграничному университету. Ослабление зрения заставило меня съездить в Харьков, где проф. Гиришман спас мне глаза. Он настоял на продолжительном отдыхе. В феврале 1888 г. я нашел на юге Харьковской губернии у своей матери первый том «Капитала» в русском переводе.

До тех пор мои сведения по политической экономии ограничивались Миллем с примечаниями и (рукописными) лекциями А. И. Чупрова. Приступив к чтению «Капитала», я скоро понял, что эта книга по существу отличается от всего до тех пор мною прочитанного по общественным наукам и что для адекватного понимания Маркса важно отчетливо выяснить себе его метод.

Раздобыв прежде всего «Энциклопедию философских наук в кратком очерке» Гегеля, я не замедлил убедиться в обязательности и неотложности для меня серьезно заняться историей философии, а главное — историей логики, на которой я впоследствии и специализировался.

Считаю нужным отметить, что пробуждением во мне серьезного интереса к истории философии и логики я обязан «Капиталу» Маркса. Поэтому, слыша впоследствии от «критиков» Маркса, что «диалектика есть нечто внешнее для «Капитала» и что она «только затрудняет понимание наиболее трудных глав», я недоумевал.

Тогда мне удалось проконспектировать только учение о стоимости и главу о продолжительности рабочего дня: меня вызвали в Новгород-Северск «по неотложному делу», а именно для обсуждения вопроса о возобновлении неоднократно проваливавшейся тайной библиотеки. Меня выбрали библиотекарем: мой отец согласился, в случае надобности, выдать книги за свои с условием, чтобы совершенно нелегальные издания не залеживались; кроме того, моя незабываемая, — с точки зрения гимназического начальства, неоднократно убеждавшегося в наличии у меня серьезного интереса к античной литературе, — благонадежность представляла, при местных условиях, серьезную гарантию от провала. Реорганизованная библиотека обслуживала не только учащихся. Я должен был выписывать целесообразнейшие книги, ориентировать, составлять рефераты; например, по истории французской революции: у меня были важнейшие французские историки и монография Кареева по крестьянскому вопросу.

Впоследствии эта тайная библиотека перешла в руки Н. А. Алексева и его кружка.

В то же время мне предложили привести в порядок фундаментальную учительскую библиотеку, предоставив читать из нее что угодно. За полтора года я проштудировал по логике и по истории философии все, что там было, в том числе Редкина, Куно Фишера, Ланге. Самих философов я решил читать не спеша, тем более, что до-сократики настолько меня заинтересовали, что я тогда же проштудировал важнейшие первоисточники¹⁾. Впоследствии это пригодилось мне: во-первых, когда Энгельс излагал мне диссертацию Маркса; во-вторых, когда я перепечатывал на пишущей машинке греческие тексты, приводимые в этой диссертации.

Летом 1888 г. я усердно ботанизировал. Тогда я часто встречался со студентом Одесского университета И. Г. Дроздовым, вскоре арестованным и сосланным в восточную Сибирь. Он старался отвлечь меня от «увлечения естествознанием» и побудить к исполнению долга «критически мыслящих личностей», т.-е. вызвать во мне энтузиазм к студенческим волнениям, от которых я в восторг не приходил, хотя бы уже

¹⁾ Для тогдашнего «классицизма» и его отношения к живому интересу к античной мысли характерно следующее: когда я получил от Киевского учебного округа премию за конкурсное латинское сочинение, гимназическое начальство, не подозревавшее, что мой бойкий латинский слог объясняется конспектированием на языке подлинника «Теолого-политического трактата» Спинозы, расточало мне похвалы, отравившие даже удовольствие от отказа от премии в пользу нуждающихся учащихся. А когда мои выписки из до-сократиков были кем-то предъявлены директору, он начал исправлять «ошибки» т.-е. орфографию фрагментов, написанных на диалектах, пока я не предложил «исправить» также текст Геродота или хотя бы Гомера.

потому, что активнейшие их участники, «пострадав» и скоро выдохнувшись, начинали строчить прошения об обратном приеме и обивать пороги канцелярий... А кроме того, многие тогдашние студенты возмущались, например, тем, что на медицинских факультетах преподавались «ненужные врачам» ботаника и зоология и т. д., а мне русские университеты были антипатичны отсутствием в них «философских» факультетов.

Когда я выражал предпочтение «Современнику» пред «Отечественными Записками», И. Г. Дроздов указывал на непосредственную связь кое-чего в «Отечественных Записках» с народофильской идеологией. Меня интересовало, какое отношение все это имеет к социализму в европейском смысле, что общего между так определяемым русским социализмом и хотя бы немецкой социал-демократией, о которой И. Г. Дроздов говорил почти с таким же восторгом, с каким он декламировал Надсона. Ответом, что в России — до конституции — социализм означает главным образом проникнутость революционеров социалистическим идеалом, я не вполне удовлетворялся. Тогда я узнал от И. Г. Дроздова о существовании за границей русских «кровных марксистов», полемизирующих с «Народной Волей» и придающих — еще до конституции — главное значение рабочему движению. Я просил ориентировать меня точнее, но И. Г. Дроздов ограничился перечислением фамилий «кровных марксистов» и заглавий их полемических произведений. Из Сибири он переписывался со мной; впоследствии я потерял его из виду. Между прочим он указал мне на статью Валентинова о Родбертусе. Непосредственно полезен для меня был его совет не откладывать прочтения «Капитала» до изучения Гегеля и истории логики, как того требовала моя совесть, взглянуть на дело проще, — тем более, что ведь и Маркса и Гегеля я буду не раз перечитывать, — и использовать как пропедевтику к Марксу Зибера. Зимой и ранней весной 1889 г. я дочитал первый том «Капитала». Тогда же я перевел брандесову биографию Лассалья. Кто-то зачем-то переслал мою рукопись за границу; неисповедимыми путями она очутилась у Энгельса и была предъявлена им мне, в ночь первого мая 1893 г., как наглядное доказательство существования в России лассальянской ереси; мне не трудно было разубедить Энгельса, не отрицавшего, что русский гимназист в провинциальной глуши мог и хуже затратить время, и улыбнувшегося, когда, на вопрос о мотивах, я сознался, что, переводя биографию Лассалья, я имел в виду выяснить знакомым барышням различие между Лассалем и шпильгагенским Лео.

Зимой и весной 1889 г. я обменялся несколькими письмами с Русселем, один из братьев которого учился в одном классе со мной и жил у моего отца. От Русселя я хотел узнать данные о прожиточном минимуме в Германии и в Лондоне. Руссель моего намерения в русский университет не поступать не одобрил. Он советовал мне не подражать ему, уверовавшему в торжество общинных начал, представлявшееся ему на заре туманной юности столь близким, и оторвавшемуся от отсталой, но родной страны, предостерегал от изолированности от народных масс. Обосновывая свое желание поскорее вырваться за границу, я, между прочим, выразил мысль, что необходимо и желательно вовсе не торжество русских общинных начал, и преподнес своему «американскому дядюшке» рассуждения — весьма наивные и отвлеченные — о благодетельности диалектического процесса самоотрицания капитализма. Руссель отвечал, что тем хуже для меня и для моих единомышленников, одного из которых он не замедлил обрадовать, переслав ему мои рассуждения, «от которых Гегелем так и брызжет».

Затем я попросил Русселя выяснить условия приема в швейцарские университеты для особы, намеревавшейся изучать там медицину. В ответе Руссель приложил детальные указания относительно этого, за подписью Р. Боград, а затем — опять таки через Русселя *via* Сан-Франциско — я получил и несколько строк от «мужа Розалии Марковны», любившегося, какие именно русские книги являются первоисточником моих рассуждений о разложении общины и о самоотрицании капитализма. Я сослался на русский перевод первого тома «Капитала», с другими произведениями автора которого я пока незнаком; что же касается русских книг, в которых эта точка зрения проводилась бы в применении к русскому историческому

процессу, то о существовании таких книг я, к сожалению, только слышал. «Муж Розалии Марковны» отвечал, что он этому не вполне доверяет, хотя и допускает, что при сколько-нибудь внимательном чтении первого тома «Капитала» такие взгляды на общину не только могут, но и должны возникать. Давая более удобный передаточный адрес, он выразил уверенность, что мы встретимся за границей, но просил не упускать из виду, что в Петербурге можно кое-что сделать, и притом в той среде, с которой я буду непосредственно соприкасаться; он советовал не верить утверждениям, что уже в ближайшем будущем целесообразно лишь непосредственное воздействие на тех, к кому прямо хотелось бы обратиться всякому чуткому читателю «Капитала»; он желал знать, какие книги философского содержания я уже прочитал и какие наметил для прочтения. К сожалению, из следующего письма «мужа Розалии Марковны» я помню только неоправившийся мне пренебрежительный отзыв о Н. И. Карееве и совет заинтересовывать стоящих того интеллигентств не теорией стоимости, а философией истории автора «Капитала», кроме того, упрек мне за чрезмерную осмотрительность, проявившуюся в умолчании о том, какие русские книги и т. д. На этом и прекратилась переписка. Тогда я не заинтересовался выяснением личности «мужа Розалии Марковны», предполагая, что Руссель переслал мои рассуждения относительно общины какому-нибудь заграничному специалисту по части составления программ для кружков самообразования; а я этот жанр недолюбливал. Впоследствии мне не раз приходилось убеждаться в том, что Г. В. Плеханов не только в самом деле полагал, что в России никто не в состоянии сделать элементарнейшие выводы из «Капитала» непосредственно, но и не считал нужным скрывать это — столь лестное для россиян — суждение.

Мои попытки заинтересовать провинциальных интеллигентов «Капиталом» были неудачны: учащиеся возмущались предложением приняться за чтение толстой книги; толстовки находили, что в «Капитале», вероятно, то же самое, что и в других книгах о положении рабочих на Западе, а не убеждались, когда я утверждал, что Маркса стоит прочитать хотя бы для того, чтобы перестать удовлетворяться не только этими книгами, но и самим Флеровским.

Единственным читателем привезенного мною в Новгород-Северск экземпляра «Капитала» в 1889 г. оказался преподаватель физики И. С. Кононенко, мечтавший вырваться из окружающей среды и «сесть на землю». Он много рассказывал об учившихся в одно время с ним в Новгород-Северской гимназии Кибальчиче и А. Д. Михайлове, которых тогда еще хорошо помнили в Новгород-Северске, равно как и Русселя.

Мне не удалось уехать за границу сразу, но я предупредил своих ближайших родных, что 1 ноября 1891 г. я возьму документы из университета, выясню, предстоит ли мне отбывать воинскую повинность, а затем меня в России не удержат никакими силами.

Я был очень переутомлен и принял предложение братьев Русселя отдохнуть у них на хуторе в Могилевской губернии.

Старший из братьев Русселя, К. К. Судзиловский, изучивший земледелие на трудовых началах у Энгельгардта, отвел мне участок для корчевания, и этому виду физкультуры я обязан тем, что в Петербурге надолжался не сразу, а только к концу ноября 1889 г.

В начале августа я нашел в Петербурге заработок: я переводил доктору Попову иностранные цитаты для его диссертации и читал с ним «L'Histoire de dix ans». Вообще такого рода работы часто выполнялись мною. Вскоре я прочел группе учителей, недоумевающих, какое отношение может иметь социализм к педагогике, свой первый реферат: «Социализм и педагогика. Педагогические теории Консидерана».

В университете я послушал на естественный факультет, — удалось до начала занятий определять кривые растворимости солей; затем я усердно работал по ботанике и у П. Ф. Лесгафта, очень хорошо ко мне относившегося, хотя я и перепортил множество препаратов; кроме того, я почти ежедневно занимался по анатомии вместе с приятелями медиками. Но больше всего я занимался математикой: «механический

«отдел физики» проф. Фан-дер-Флита и в издании для естественников, и в издании для математиков был для меня слишком элементарен; аналитическую геометрию я уже знал; до ноября я успел протудировать «Introductio in Analysis infinitorum» Эйлера.

Считаю не лишним отметить это по двум причинам: во-первых, мои сверстники, социально-политическим индифферентизмом не зараженные, не обнаруживали ни малейшей склонности «предоставить науку будущим поколениям»; во-вторых, я лично серьезно хотел сметь свое суждение иметь и его высказывать по вопросам теории методов.

По философии я прочел за это время только «Kritik der reinen Vernunft», а по общественным наукам — второй том «Капитала» и кое-что из французских утопистов.

Предоставляя читателю догадаться, сколько времени мне оставалось для сна, констатирую, что регулярно обедать у меня не оказывалось ни времени, ни желания: деньги я считал более интересным и моральным тратьте иначе.

Настроение мое было безотрадно: я воображал, что в Петербурге — интенсивное политическое движение, а подавленность настроения в конце 1889 г. была несомненна: единственная тогдашняя демонстрация (после смерти Н. Г. Чернышевского) воочию обнаружила бессилие организации, поскольку таковая намечалась.

О смерти Н. Г. Чернышевского я узнал из разговора однокурсников в аудитории: передавали, что на демонстрации, наверно, будет много медиков; что священники вряд ли решатся отслужить панихиду; спорили, являться ли на панихиду в форме или в штатском... Кто-то спросил: кто был покойный, и кто-то ответил: известный либерал. Я не выдержал и, резюмируя статьи в «Современнике», постарался выяснить отношение Н. Г. Чернышевского к либералам. Слушали меня очень внимательно, особенно когда я резюмировал статью «Научились ли?», как непревзойденное выражение студенческих требований. Однако кто-то шепнул мне, что в аудитории целесообразнее говорить о чем-либо другом. Тогда я сказал еще несколько слов об «Эстетических отношениях искусства к действительности» и о судьбе этой диссертации и ее автора. Когда я кончил, несколько студентов попросили меня записать им заглавия важнейших статей Чернышевского.

На демонстрации в церкви я стоял с медиками; из церкви вышли стройными рядами; но было совершенно ясно, что продолжение демонстрации на улице ни к чему не привело бы.

Вскоре у меня обнаружили симптомы переутомления, и притом настолько острые, что в конце ноября пришлось уехать из Петербурга. В Москве я посетил беллетриста Мачтета, к которому мне дали поручение личного свойства; помню его рассуждения о том, что старые знамена истрепались, а новых не оказывается.

В Черниговской губернии мне стало еще хуже... Я предположил, что моя работоспособность иссякла, и сделал соответствующий вывод; но три револьверные пули не привели к желанному результату. Родные предложили мне уехать за границу, но я предпочел дожидаться 1 ноября 1891 г.

В Петербург я мог вернуться только в апреле 1891 г. Я поселился в очень дешевой и в очень темной комнате у Богословских. И. В. Богословский был математик, лишившийся учительского места за «вредное влияние» на учеников. От него я неоднократно слышал в 1890 г. многие из тех «возражений против русских учеников Маркса», которые не стали более убедительными в статьях народников. Он громил «марксят» — товарищей Р. Э. Классона и меня лично — «за фатализм, равнодушие к страданиям народа, уверенность, что все само собой образуется» и т. д. Приходилось по пунктам разбирать неадекватные обвинения, но скоро это надоело.

Я был нужен И. В. Богословскому как переводчик. Он писал такую книгу, «которая положила бы конец шатанию мысли, антиобщественным тенденциям», основываясь на «цельное мирозерцание».

Несмотря на мой скептицизм к осуществлению такого рода начинаний, я не отказался перевести для него — он не знал языков — два первых тома контовского

«Cours de philosophie positive» целиком, остальные — все более сокращая, и множество мест — им почти не использованных — из «Dynamic Sociology» Лестера Уорда. Как пробирал меня через два года после этого за приобретение этой книги Г. В. Плеханов, утверждавший, что трактат Уорда можно принять за перевод из Лаврова!..

И. В. Богословский был поэт. Из его произведений помню поэму из жизни русских революционеров и драму «Священник Мелье». По просьбе Богословского я отнес эти талантливые, но тогда совершенно нецензурные вещи в «Северный Вестник», где мне ответили, что «печатают только уже известных авторов»¹⁾.

Разошелся я с И. В. Богословским через несколько месяцев: его выходки, отчасти объясняемые чахоткой, переходили через край. Катаясь на лодке, он настоял, чтобы мы высадились у чьего-то особняка, и проповедывал сбежавшимся лакеям всеобщую забастовку. В холодный осенний день он буквально принудил меня явиться в университет в сером пладе, чтобы «приучить субчиков к появлению студентов не в ливрее»²⁾. Отдавшего мне визит кузена Русселя он приветствовал как «наймита тиранов» за то, что тот служил по ведомству уделов. Осведомившись, где служит сам И. В. Богословский, «наймит тиранов» полюбопытствовал, не являются ли служащие в банках наймитами буржуазии. Одного моего однокурсника, носившего обручальное кольцо, он приветствовал возгласом: «Ах, дикарь вы этакий! Зулус, ботокуд, папуас, вас бы в музей отправить как образчик атавизма с вашим кольцом! Вы бы еще по браслету сквозь нос и губы себе проделали!»

Перехожу к моим тогдашним отношениям с Петром Бернардовичем Струве. Выясняя характер этих отношений, я вынужден просить не упускать из виду, что как П. Б. Струве, так и другие упоминаемые мною лица выступают в моих воспоминаниях такими, какими они являлись мне в те годы, безотносительно к дальнейшему.

В начале мая 1890 г. один из моих товарищей по курсу, находя, что людям, интересующимся сочинениями Маркса, следует познакомиться друг с другом, пришел ко мне с нашим однокурсником, вскоре, впрочем, перешедшим на юридический факультет, а именно с П. Б. Струве. Оказалось, что мы уже знакомы и обменивались мыслями после первых лекций Менделеева.

П. Б. Струве предложил мне пользоваться его книгами. Только благодаря ему я мог тогда прочесть «Нищету философии», «18 Брюмера», «Анти-Дюринг». Затем он и Д. В. Страден выяснили мне весьма существенные моменты в истории немецкой социал-демократии: оба они уже побывали за границей, а в Петербурге тогда было очень трудно ориентироваться относительно этой партии. Вообще П. Б. Струве щедро делился своими сведениями по библиографии рабочего движения. Я лично обязан ему еще и ориентацией относительно научной постановки вопроса о происхождении русской общины.

Вскоре я получил приглашение присутствовать на реферате П. Б. Струве о жизни и деятельности Маркса. Именно этот реферат, приспособленный к удовлетворению очередной и неотложной потребности: ориентироваться в основных фактах биографии Маркса с марксистской точки зрения, «пробил лед»: это был первый осязательный шаг в том направлении, которое в течение некоторого времени приурочивалось к имени П. Б. Струве, например, в стихах, которые так любил цитировать Г. В. Плеханов:

Старый друг народа в вечность отошел,
И ему на смену Пе фон-Струве шел...

Впоследствии П. Б. Струве умалял значение этого своего дебюта как не достаточно оригинального, а Р. Э. Классон, наоборот, усматривал главное достоинство этого реферата в том, что в нем не имелось никакой «струвистской отсебятины».

¹⁾ В 1911 г. я получил от вдовы Богословского томы, в которых излагается «цельное мирозерцание»; не знаю, удалось ли ей издать поэму и драму.

²⁾ Плад не был допущен в стены университета; меня вызвали к инспектору (Гражданскому). Он равкнул: «Подать его характеристику!», но, пробежав оную, ограничился советом: пропускать лекции в холодные дни.

Благодаря любезности референта я мог прочесть его рукопись. На вопрос: каких добавлений я желал бы? — я отвечал: выяснения философских взглядов Маркса. П. Б. Струве возразил: не все же вдруг!

Вскоре П. Б. Струве прочел реферат о 1848 годе в Германии, в котором оставался преимущественно на деятельности Маркса и Энгельса. Этим открылся ряд рефератов. Б. Л. Зотов прочел несколько рефератов о декабристах, энергичнейших из которых он изображал народовольцами 1820-х годов. Я прочел несколько рефератов по истории французского социализма. Затем П. Б. Струве надолго дал мне свой — едва ли не единственный тогда в Петербурге — экземпляр «Geschichte der revolutionären Bewegung in Russland» Туна. Я часто читал из Туна по-русски лицам, желавшим узнать детали из сколько-нибудь объективного источника. Число интересовавшихся этими чтениями по непредусмотренному тогдашней университетской программой периоду русской истории все возрастало, и зимою я исполнял обязанности лектора по истории революционного движения в России, дополняя Туна по первоисточникам, стлавшимся ко мне в изобилии, заменяя перевод изложением и открывая дискуссии. Но при этом всякий раз обнаруживался один пробел: ни одного из изданий группы «Освобождение Труда» ни я, ни мои слушатели и оппоненты не могли разыскать в Петербурге. Выяснилось, что у технологов имеется какой-то «экстракт» из «Наших разногласий», но они его из своих рук не выпускали. Подробнее о содержании «Наших разногласий» я слышал, с одной стороны, от П. Б. Струве, а с другой — от Б. Л. Зотова, у которого имелся и народовольческий Vademecum по Плеханову. Б. Л. Зотов показал мне и приводившую его и его единомышленников в негодование речь Плеханова на Парижском конгрессе; но всего этого было недостаточно для того, чтобы составить себе отчетливое представление о конкретной программе заграничных «красных марксистов».

Осенью 1890 г. я познакомился — не помню, на чьем реферате — с Р. Э. Классоном. Один технолог выразил желание, чтобы на предстоящем реферате Р. Э. Классона о первобытной семье, кроме его секундентов-марксистов, «т.-е. технологов», выступали и «антимарксисты, т.-е. студенты университета», с выразительным взглядом на меня. Я выразил недоумение по поводу зачисления Маркса по технологическому ведомству, а меня, — на основании столь несущественного признака, как студенческий мундир, в ряды антимарксистов. Р. Э. Классон пожелал, чтобы в таком случае я после его реферата поддержал не стоявшую в прямой связи с темой этого реферата определенно марксистскую резолюцию. По тогдашнему обычному праву, я тогда же получил для прочтения «Ursprung der Familie», а кроме того мне обещали раздобыть «Die Lage der arbeitenden Klasse in England» и «Манифест», но «экстракта» из «Наших разногласий» все-таки не дали.

С тех пор технологи, — чаще всего сам Р. Э. Классон, иногда его коллеги, всякий раз представлявшие несомненные доказательства того, что они имеют с ним дело, — иногда приходили ко мне с текущей немецкой социал-демократической литературой, которую я возвращал с приложением своего перевода. Они уверяли, что эти переводы проникают в рабочую среду, а меня лично они туда предпочитают не вводить потому, что моя, во всяком костюме бросающаяся в глаза наружность, могла бы ускорить провал едва налаживающейся пропаганды.

Такого же рода переводы поручал мне делать Н. Д. Соколов, — также уверяя, что эти переводы проникают к рабочим. От его имени ко мне заходили и рабочие. Они интересовались не только Туном, но и историей французской революции и тридцатыми и сороковыми годами во Франции. Интеллигентностью они интеллигентам не уступали; иногда я думал, что меня мистифицируют; заметив мое сомнение, мой собеседник стал уверять, что и рабочие в праве интересоваться историей тех стран, где рабочие кое-чего добились.

Чаще всего я встречался тогда с Д. В. Странденом, а из лиц, оставшихся активными участниками движения, я встречался, между прочим, с Н. Л. Мещеряковым.

Мне предложили участвовать в практических занятиях у доцента Свешникова. Я отказывался под предлогом, что я не юрист, но меня познакомили с Свешниковым, и он ничего не имел против участия студентов других факультетов.

Я предложил реферат о праве на труд. Отклонили. Я предложил реферат о «*Politique positive*» Конта, чтобы поскорее ребром поставить вопрос о субъективном методе. И это отклонили, но сочли желательным, чтобы я участвовал в дискуссиях.

Выступления марксистов на этих рефератах в аудитории Свешникова обыкновенно намечались предположительно с распределением ролей, так что эти дискуссии называли «разговорами марксистов промеж себя».

Мне пришлось делать и фактические поправки. В дискуссии после реферата Н. В. Водовозова о Фурье я противопоставил утверждению, что «*laissez faire*» особенно ярко выразилось в декларациях прав, текст Декларации прав Робеспьера. Кроме того, возражая Н. В. Водовозову, я использовал книгу Бебеля о Фурье, которую именно для этого снабдил меня П. Б. Струве.

Тем неожиданное для меня было, что П. Б. Струве, тогда нередко шеголявший марксистским «определением государства», счел возможным сделать нижеследующее: после чьего-то прославления культурной миссии государства я поставил вопрос об отношении современного государства к праву на труд, желая вызвать дискуссию на эту тему и ожидая, что, как было заранее условлено, формулировка Луи Блана, которого я цитировал, будет противопоставлена точка зрения научного социализма.

Тогда П. Б. Струве заявил, что он не имеет ничего общего с только что формулированным отрицанием в с я к о й государственности.

Зайдя к П. Б. Струве, я просил его указать, на каком основании Луи Блан и — *implicite* — Лассаль выдаются им за отрицателей всякой государственности.

П. Б. Струве недоумевал: он только воспользовался «первым предложением», чтобы отмежеваться от анархизма; кроме того, он хотел указать на роль государства, обеспечивающего организованность производства «в реальном, а не в утопическом смысле слова». Я утверждал, что это или лассальянство, или триумф. П. Б. Струве выразил уверенность, что в аудитории Свешникова почти никто не понял ни меня, ни его...

Затем, П. Б. Струве подчеркнул, что он вообще не понимает и не одобряет интереса к до-марксистским идеологиям, от которых достаточно «раз навсегда отмежеваться», не останавливаясь на таких несущественных различиях в оттенках мелко-буржуазного утопизма, как, например, различие между Луи Бланом и Прудоном. За мой интерес к этим «оттенкам» он назвал меня «истинным социалистом», но был вынужден признать, что этот эпитет прилагался не к французским утопистам, как бы ни были они мелко-буржуазны.

Я попросил указать видовое отличие марксизма. Тогда П. Б. Струве усматривал это отличие в том, что в марксизме нет ни грана этики, что последовательный марксист только констатирует то, что есть и становится, что всякая этическая аргументация в формулировке программных требований есть пережиток утопизма, извинительный у Лассаля, но окончательно искорененный В. Либкнехтом, Бебелем и Каутским, что у Маркса и Энгельса эта реалистическая точка зрения, к сожалению, затемнена гегельянской фразеологией, но что он, П. Б. Струве, намерен проводить эту точку зрения в более адекватных терминах рилевского критицизма. Не считая себя тогда достаточно компетентным по истории философии, я спор о значении диалектического метода отложил, но отстаивал правомерность изучения до-марксистских идеологий, хотя бы как одного из интереснейших и практически важнейших объектов для применения материалистического понимания истории.

П. Б. Струве утверждал, что изучение политической экономии лучше всего начинать прямо с Маркса, и считал счастьем для себя лично, что экономистов других направлений он начал читать, уже усвоив Маркса. В заключение он выразил мнение, что для ознакомления с французскими утопистами достаточно Л. Штейна, но все-таки мои томы Луи Блана и Прудона перешли к П. Б. Струве, и обратно я их

не получил. Позднее в Лондоне П. Б. Струве говорил мне, что на обыске у него обыскивающие выражали задним числом интерес к моему интересу к этим авторам.

Мои чтения по Туну продолжались: собиралось человек 20—30. Окончились они хаотически. Меня просили прочесть реферат по Туну, предупредив, что, может быть, соберется несколько больше публики; безопасное помещение взялся найти непревзойденный специалист по этой части, Н. Д. Соколов. Я поставил неперменным условием, чтобы была дискуссия и чтобы кто-нибудь резюмировал точку зрения Плеханова, хотя бы по «экстракту», который обещали реквизируют у технологов. Как темы для дискуссии, я наметил отношение политической свободы к социалистическому движению и отношение русских революционных идеологий к западно-европейским. Я неоднократно предупреждал тех лиц, на которых имел основание рассчитывать как на участников предполагаемой дискуссии, о своем намерении, в случае ареста, сделать жандармски-административный процесс невозможным, а на настоящем процессе выступать как социал-демократ.

Явившись в условленное место с Туном, конспектами и некоторыми первоисточниками, я очутился в большом зале, переполненном пестрой по составу публикой. Мне тотчас же сообщили, что явились преимущественно знакомые знакомых тех лиц, которые были более или менее непосредственно приглашены на реферат; и поставили на вид, что я должен серьезно считаться с этим фактом; но переменить тему ни я, ни те из близких знакомых, с которыми я имел возможность наскоро посоветоваться, не сочли желательным: Тун и первоисточники все равно явились бы уликами несомненными. Мои предыдущие чтения по Туну меня несколько тренировали. Но то были чтения и дискуссии, на которых я имел в виду лиц, серьезно и вовсе не академически интересовавшихся русским революционным движением и его историей, а теперь, — кроме нескольких знакомых лиц, с которыми я предпочитал обсуждать эти темы в менее многолюдных местах, — я видел перед собой людей, пришедших от нечего делать.

Вручая на следующий день П. Б. Струве его экземпляр Туна, я услышал от него: «Наделала синица славы, а море не зажжено. Баснь эту можно бы и больше пояснить». Я просил пояснить, какое море — и какими спичками — кто бы то ни было мог зажечь в переполненном пестрой, случайной публикой зале? Конкретно: корректно ли по отношению ко мне, во всяком случае наиболее рискующему, завлечь меня в такую аудиторию и даже не отозваться на ряд моих предложений открыть дискуссию? Почему никто не поставил мне дельных вопросов, которые я всякий раз слышал на моих предшествовавших чтениях по Туну? Какой смысл имело в данном случае привлечение «широких кругов»? П. Б. Струве безмолвствовал, а «пояснение басни» я услышал в 1895 г., но не от П. Б. Струве, а от В. И. Ульянова (Тулина-Ильина)⁴).

Через несколько дней ко мне явились технологи, не одобрили инициаторов привлечения «широких кругов», выразили недоумение по поводу противоречивых слухов о «сумбурном сборище», заявили, что предпочитают не «словоблудствовать перед четвероногими» (фразеология Р. Э. Классона), а дело делать с рабочими, дискуссию о плехановской программе в «широких кругах» считают вредной, а мысль положить

⁴) В 1895 г. (в начале лета) я провел с Владимиром Ильичем и А. Н. Потресовым несколько очень содержательных суток в Ormonts-Dessus; они выразили желание, чтобы я провел их туда из Монтрэ через долину Hongrin'a горными тропинками, подальше от людных. В конце лета 1895 г. я еще раз встретился с Владимиром Ильичем на берегах Женевского озера; он предложил мне иметь с ним двухчасовой разговор на теоретические (преимущественно философские) и на — тогда весьма злободневные — практические темы на лодке; этого разговора я не воспроизвожу, потому что, вопреки моему желанию, говорить пришлось больше мне; он потребовал от меня, — подчеркнув, что это нужно, — объективной ориентации, а сам ограничивался вопросами и в высшей степени характерными замечаниями. Ограничусь упоминанием, что непосредственно после этого разговора мне пришлось быть очевидцем его спора с Г. В. Плехановым по вопросу о феодализме в России. — По поводу моих чтений по Туну зимой 1891 г. он выразился: для либерала — слишком смело; для марксиста — трата времени.

конец жандармским процессам — вряд ли осуществимой; мне они убедительно советовали временно бездействовать, обещали давать переводы «попрежнему», «а там видно будет».

Мне в самом деле нужна была передышка, и я серьезно занялся кристаллографией с тем результатом, что после экзамена проф. Докучаев предложил мне по окончании курса остаться при университете. Д. В. Странден предложил мне помочь подготовиться и по минералогии; но я сдавал экзамены только за первый курс (я был переведен на второй условно). Мое желание уехать за границу было неизменно; при хронических университетских беспорядках перспектива доцентуры меня привлекать не могла.

Выражение рабочими сочувствия Н. В. Шелгунову мне весьма понравилось; за что мне пришлось — при первом же свидании — выслушать неожиданный репризанд от Г. В. Плеханова. Во время обсуждения деталей демонстрации меня несколько раз посылали к Н. К. Михайловскому, у которого я и прежде бывал¹). На кладбище я стоял рядом с высланной вскоре студенткой. Когда после одной из речей долго никто не говорил, я сказал несколько слов, упомянув между прочим, что мы чтим Н. В. Шелгунова не только за недавние статьи, но и как ближайшего единомышленника М. Л. Михайлова. Мне посоветовали уходить не с толпой.

Недалеко от кладбища я встретил П. Б. Струве; он заговорил со мной, и наш разговор продолжался на конке, а затем у него, на квартире А. М. Калмыковой. П. Б. Струве отметил, что Шелгунов едва ли не первый заговорил в русской литературе о «Положении рабочего класса в Англии» Энгельса. Он излагал свои планы дать в близком будущем народникам необходимые разъяснения относительно идеализации общины, артелей и т. п., относительно особых путей русского прогресса и, не ограничиваясь критикой, обосновать свои взгляды на крестьянский вопрос в России. Многое он намечал шире, лучше, чем написал в своей первой книге.

Материалистическое понимание истории он хотел применять как метод, т.-е., не ограничиваясь повторением классических формулировок, освещать ряд конкретных проблем. «Критического отношения к Марксу» в 1891 г. он не проявлял; о скептицизме по отношению к «прогнозу» речи еще не было. Он подчеркивал, что уважает всех искренних борцов против абсолютизма и его пережитков, но он подчеркивал и свое убеждение в том, что, что бы ни делали буржуазные партии, от их полумер и промахов может выиграть только социал-демократия. (Эти слова отчетливо запечатлелись в моей памяти.) Социал-демократию он считал нормальным типом движения для всех стран. Ко всяким попыткам разжижения марксизма путем сочетания его с мелко-буржуазными тенденциями он относился отрицательно. Из буржуазных экономистов он считал брентанистов... подающими надежды на то, что они понемногу усвоят кое-что из Маркса под давлением «принудительной» логики фактов. Все это я слышал тогда от него не раз, и это звучало как выражение искреннего убеждения.

В русской публицистике он находил редкие оазисы, к числу которых причислял, например, статью Чернышевского «Научились ли?», которую он раз прочел вслух как адекватнейшую постановку студенческого вопроса, предлагая присутствующим догадаться, когда это написано. По поводу репрессий после демонстрации на похоронах Шелгунова он выражал надежду, что мщение не заставит себя долго ждать, и притом не только в форме «индивидуальных актов».

Слово «национал-либерал» он употреблял как ругательство; всякий национализм (напр., в «Reden an die deutsche Nation») он считал патологическим явлением.

Его тогдашнее отношение ко всякой метафизике выразилось, например, в том, что, когда (на вечеринке в годовщину основания Петербургского университета) П. Ф. Лесгафт советовал проникнуть в смысл мировоззрения Спинозы, П. Б. Струве резко протестовал против призывов не к общественной деятельности, а к метафизике, и выразил надежду, что подобные призывы останутся безрезультатными. Еще резче

¹) Никаких симптомов озлобления против марксизма он тогда не обнаруживал и выражал сожаление, что «Валентинов» не пишет в легальных журналах.

были его рассуждения о В. С. Соловьеве, экземпляры статей и трактатов которого П. Б. Струве испещрял замечаниями на полях, свидетельствовавшими о таком негодовании против самой постановки вопросов этики не с классовой точки зрения, по сравнению с которыми бледнеют наиболее резкие укоризны ортодоксальных марксистов по адресу самого П. Б. Струве. К истории философии П. Б. Струве всегда относился свысока.

И тогда, и уже в Лондоне (при обсуждении «Zum sozialen Frieden» Шульце-Геверница) я изумлялся резкости его суждений — не о какой-нибудь «редкой, бразильской бабочке» (он уличал меня в «коллекционировании раритетов» в истории мышления), а о Карлейле: он не признавал даже значения карлейлевской переоценки ценностей по отношению к деятелям 1640-х и 1650-х годов.

Из моей петербургской жизни остается отметить еще то, что — по приглашению технологов — я съездил на лодке на взморье с врученным ими мне предварительно экземпляром резолюции; выслушал речи других, говоривших с лодок, ораторов и обосновывал эту резолюцию. Затем я вернулся к Стрелке, а о дальнейшем ходе этой первой майской демонстрации на суше узнал от технологов через несколько дней.

II

Первые заграничные впечатления

На Австро-германской границе. — В Берлине. — У Р. Э. Классона во Франкфурте-на-Майне. — У П. Б. Аксельрода в Цюрихе. — У Морнэйских отшельников (1892—1893).

В ноябре и декабре 1891 г. я штудировал (в Черниговской губернии и в Киеве) Гегеля.

В середине января 1892 г., переезжая в вагоне четвертого класса австро-прусскую границу, я был задержан прусским жандармом на станции Myslowicz-Osweczim и препровожден обратно в Австрию за то, что у меня не оказалось при себе достаточного количества денег для того, чтобы уехать в Америку, куда, по соображениям жандармов, я только и мог желать ехать. Сначала жандармы отказывались верить, что я студент и стремлюсь не в Америку, а в Берлинский университет, а когда темно-зеленый цвет моего пальто доказал, что я только что был студентом в России, меня доставили на русскую границу. Русские жандармы констатировали, что мой паспорт и австрийская виза в порядке, принять меня отказались и выругали своих прусских коллег за усердие не по разуму, указав им на вздорность высказанного ими предположения о вывозе запрещенных книг из России. Провиз недолго в Кракове, я беспрепятственно переехал австро-прусскую границу в Одерберге во втором классе. Это был первый предметный урок относительно *die Freiheit, die ich meinte...*

В Берлине меня встретил и ориентировал студент Карфункель. В прусской столице я нашел очень культурную русскую колонию; там жили тогда, между прочим, д-р Гельфонд («Парвус»), д-р Н. Рейхесберг, — вообще я не находил столь высокого уровня интеллигентности и порядочности в русской среде ни в одном из заграничных городов. Я работал в химической лаборатории, посещал «Уранию», изучал историю социал-демократии и т. д. Разрешения на жительство в Берлине мне долго не выдавали: сначала под предлогом, что на моем паспорте только австрийская виза, требовали германской визы от «германского», а затем даже от прусского консула в Берлине; затем мне сказали: «он» посещает собрания, покупает социал-демократические брошюры и «он» хочет, чтобы ему дали — во всякое время могущее быть отобраным — разрешение проживать в Берлине! Я констатировал, что — стилистически — обращение на «ег» такой же архаизм, как английское «thou». Зайдя в редакцию «Vorwärts», чтобы побудить «товарищей» протестовать против произвола прусских властей на границе, я услышал от этих «товарищей», что такие местные инциденты имеют лишь местное значение и не представляют интереса для центрального органа партии, тем более, что дело шло о русском. В мою комнату на Invaliden-

strasse и при мне, и без меня являлись агенты; мне это надоело; я был переутомлен и хотел отдохнуть в свободной стране.

Получив, наконец, Aufenthaltserlaubnis в середине мая, я в тот же день уехал из Берлина. По дороге в Швейцарию я заехал во Франкфурт-на-Майне по настойчивому приглашению Р. Э. Классона, служившего там на заводе, и пробыл там с неделей.

Я обязан констатировать, что я не мог не считать Р. Э. Классона наиболее дельным и вдумчивым из тех активных русских марксистов, с которыми я имел дело до тех пор. Он живо интересовался социалистической литературой — не только немецкой; его отзывы о книгах были метки, продуманы и прочувствованы. Уже тогда, обсуждая возражения против теории концентрации капиталов и иронизируя насчет мелких двигателей, как панацеи против концентрации, он доказывал осуществимость и целесообразность использования мощных источников энергии.

К реальным перспективам для рабочего движения от достижения социал-демократией власти Р. Э. Классон уже тогда (в мае 1892 г.) относился весьма скептически, при чем этот скептицизм вытекал не только — как у тогдашнего Парвуса — из соображений относительно трудности осуществлять социалистический строй в отдельных странах, но и из наблюдений над провинциальными социал-демократами и их образом действий не на парадных собраниях, а в повседневной практике. Относительно рабочего движения в России Р. Э. Классон выражал уверенность, что его рост в ближайшем будущем приведет к массовым вооруженным конфликтам, и с увлечением развивал свои соображения о целесообразнейшей постановке технической стороны уличных боев. Для себя лично он предусматривал арест вскоре после возвращения в Россию, но подчеркивал, что и в дальнейшем он удовлетворится только революционной деятельностью.

Меня он побуждал выяснить Плеханову (полагая, что я еду прямо на берега Женевского озера, он направил меня не к Аксельроду, а к «женевскому божку»), что на золотой дождь из России нельзя рассчитывать, ибо там деньги нужны для работы на местах, и что средства на издание литературы и на транспорт будут отпускаться при непременном условии тщательного контроля над целесообразностью их расходования. Кроме того, он поручил мне изложить Плеханову пожелания своих петербургских товарищей относительно целесообразнейшей литературы для рабочих. Он рассчитывал, что я подготовлю почву, а затем он и сам побывает и у Аксельрода, и у Плеханова и внушит кому следует «надлежащие мысли».

На швейцарской границе (на вокзале в Шаффгаузене) во мне заподозрили немца-дезертира и грозили препроводить назад в Германию, но затем разрешили направиться к водопаду. «Beau pays, tristes habitants» — слышал я нередко от самих швейцарцев.

У меня была записка от Парвуса к П. Б. Аксельроду. День, проведенный мною с Павлом Борисовичем в Цюрихе, принадлежит к числу моих отраднейших зарубежных воспоминаний. П. Б. расспрашивал меня о Петербурге и о Киеве с живым интересом; шелгуновскую демонстрацию он очень одобрял, откровенно признавал, что они мало осведомлены о том, что в России на самом деле происходит, от рассказа о мае 1891 года пришел в восторг; технологов порицал за монополизирование «экстракта» из «Наших разногласий»; сожалел о неудовлетворительности транспорта; выражал полную готовность сообразоваться с желаниями русских товарищей относительно характера литературы, но предупреждал, что с «Жоржем» будет трудно столкнуться.

Меня он уговаривал пожить в Аффольтерне; но я спешил в Лозанну по личному делу. Он настойчиво советовал мне во французской Швейцарии не засиживаться, а Женеву именовал отвратительной дырой; рекомендовал мне поскорее поселиться в южной Германии, держаться подальше от русских кружков, дать забыть о себе в Петербурге, основательно поправить распатанное здоровье и вернуться в Россию с дипломом¹⁾.

¹⁾ Из этих советов я своевременно не мог, к сожалению, исполнить ни одного: вышло так, что во французской Швейцарии я очень скоро надолго утратил свободу передвижения и застрял в ней, горьким опытом убедившись в правильности предупреждений П. Б. Аксельрода.

О русских цюрихчанах П. Б. Аксельрод отзывался в общем весьма неодобрительно; прямо говорил, что с «толковыми либералами» проще и приятнее иметь дело: они дают деньги и не мешают дело делать, а заграничные «товарищи» денег не дают, а дело делать мешают. Но все-таки он утверждал, что русские колонии в Берне и даже в Цюрихе выносимее Женевской.

Он выразил сожаление; что я явился не в качестве официального уполномоченного от петербургской организации; но я, констатировав, что не имею чести к таковой формально принадлежать, старался убедить его, что для роли официального уполномоченного не годился бы, и утешал его перспективой, что он вскоре будет иметь «сомнительное удовольствие»¹⁾ беседовать с одним из активнейших петербургских деятелей. И, не называя имени, я передал одно из поручений Р. Э. Классона к Плеханову, а именно предупреждение, что на деньги из России в большом количестве рассчитывать не следует. Тогда П. Б. Аксельрод стал выяснять мне, что деньги за границей очень нужны; что очень целесообразно было бы избавить издательство от крайне стеснительной материальной зависимости от заграничных русских; что было бы чрезвычайно полезно устроить так, чтобы такие силы, как Парвус, могли не отвлекаться работой не для России.

П. Б. Аксельрод выражал уверенность, что в ближайшем будущем в Германии установится такой режим, при котором можно будет перенести русское социал-демократическое издательство в Кенигсберг.

Мне П. Б. выяснил многое неясное для меня в движении семидесятых и начала восьмидесятых годов, в том числе и деятельность Русселя, о котором я, кроме достоверных фактов, слышал и множество легенд. На прощанье П. Б., выразив предположение, что мне не чужды философские интересы, убедительно советовал уклоняться от разговоров на философские темы с Плехановым. Я отвечал, что читал я по философии еще очень мало, так что вряд ли могу быть сколько-нибудь интересным собеседником. П. Б. повторил свой совет, предупреждая, что Г. В. Плеханов оказывается недовольным как в случае обнаружения неизбежных между интересующимися философскими вопросами разногласий в оттенках понимания Гегеля, по его (П. Б.) мнению, не столь существенных для теории и несущественных для практики революционного марксизма, так и в случае полного согласия, ибо вполне во всем соглашающиеся с Георгием Валентиновичем высмеиваются им как умеющие лишь повторять чужие мысли; поэтому полезнее с Г. В. о философии не говорить. Убедившись, что я не имел никакого представления об Авенариусе, П. Б. обратил мое внимание на его труды²⁾, предупреждая, что Г. В. считает излишним, чтобы марксисты читали Авенариуса, неокантианцев и т. д. иначе как с полемическими целями, а он лично так далеко не идет, философию же считает яблоком раздора между людьми, которым следовало бы дружно работать.

В Лозанне родственники Классона передавали мне его запросы: повидался ли я уже с «женевским божком»; но я в Мориэ не спешил. Предварительно я несколько раз прочел произведения Плеханова: мнение мое, — и не только мое, а и большинства только что из России приехавших читателей, — было: «Социализм и политическая борьба» — великолепно; «Наши разногласия» — растянуты, а главное — программа, превосходно намеченная в речи на Парижском конгрессе, еще должна быть выработана в деталях, и притом применительно к очередным потребностям русского движения.

В Мориэ я в первый раз побывал в середине июня 1892 г. Георгий Валентинович и Вера Ивановна, сначала представленная мне как «Н. Бельдинская», встретили меня очень радушно. Г. В. одобрял, что я не устремился в Париж, а заинтересовался прежде всего Берлином; одобрил и мое желание подольше пожить в Лондоне. В отличие от некоторых берлинских товарищей, журивших меня за чтение памфлетов Рихтера, Г. В. рекомендовал принимать к сведению и возражения противников и немедленно

1) Я предчувствовал, что с Р. Э. Классоном ему не суждено ужиться в мире и добром согласии.

2) Эмпириокритицистом я не стал, о чем свидетельствует мое предисловие к переводу вундтовой критики эмпириокритицизма.

преподнес мне «Историю немецкой социал-демократии» Меринга в ее тогдашнем виде, подчеркивая наиболее питантные места. «Бельдинскую», не замедлившую приподнять забрало и сразу очень хорошо ко мне отнесшуюся¹⁾, он порицал за то, что в полемике она умеет вонзать куда следует винжал, но из ложной гуманности не переворачивает его несколько раз в зияющей ране. Он опасался, что у Веры Ивановны нашлись бы смягчающие обстоятельства даже для Лаврова, этого эклектика, «округляющего философию». Последовало картинное изображение процесса «округления философии», т.-е. подбора отовсюду отрывков мыслей, выдергиваемых из связи и претворяемых по образу и подобию автора «Опыта истории мысли до истории», как Г. В. именовал *opus magnum* Лаврова. Затем был изложен ряд анекдотов о журнале «Вперед», о свидании Лаврова с Гамбеттой, о том, как один французский радикал, выслушав от самого Георгия Валентиновича изложение народнической программы, изрек: «Mais, Plekhanoff, quand vous serez ministre, il faut faire quelque chose pour le peuple». На прощанье Г. В. резюмировал сущность субъективного метода как «уверенность в несуществующем как бы в существующем», добавив, что, впрочем, «дураками всякое дело красится и цветет».

На следующее утро Г. В. не поверил мне, что я уже выкупался в Арве, так как она слишком холодна, а затем начался разговор по существу.

Я передал ему пожелания группы технологов в формулировке Р. Э. Классона. Г. В. очень неодобрительно отнесся к желанию иметь только «литературу для рабочих». С очевидно долго накопившимся раздражением он утверждал, что под этим — по крайней мере, в заграничной русской среде — обыкновенно кроется лень, нежелание самим научиться марксистски мыслить. Вера Ивановна заметила, что марксистски мыслить пропагандисты могут выучиться только на практике. Они осведомились о моих личных пожеланиях относительно литературы. Я выразил свое убеждение в целесообразности безотлагательно издать ряд кратких, но содержательных и не конспективных обзоров рабочего движения в разных странах с марксистской точки зрения с необходимыми введениями, объективно резюмирующими обособление рабочих партий от буржуазных, и выразил свою готовность быть полезным в этом отношении, а в первую очередь я считал желательным краткий объективный очерк русского революционного движения с марксистской точки зрения без полемики задним числом, но с отчетливым резюме сменявших друг друга идеологий; добавив, что, не состоя формально членом группы²⁾, я выражал свое личное мнение, составившееся у меня по опыту при моих чтениях по Туну, отвечавших — за исключением попытки привлечь широкие круги — серьезной потребности. Г. В. согласился, что издать исторические обзоры рабочего движения и краткую историю русского революционного движения в самом деле следовало бы, но и то, и другое непременно с полемикой. Он осведомился, что из изданий группы «Освобождение Труда» имелось в Петербурге, и полюбопытствовал, какие возражения формулируют петербургские эпигоны «Народной Воли». Он отказался верить, что в Петербурге их изданий вовсе не имелось, и недоумевал, зачем я отрицаю, что я читал его произведения еще до 1890 г. Я недоумевал. Он осведомился, в чем же выражается фактически деятельность группы технологов; монополизирования ими «экстракта» из «Наших разногласий» он не одобрял; выражал опасение, что из этого «экстракта» удалено принципиально

¹⁾ Весной 1896 г. В. И. очень обрадовалась моему появлению в Лондоне, где она чувствовала себя изолированной. От меня она узнала о разговорах, происходивших летом 1890 г. между Плехановым и петербуржцами: Владимиром Ильичем и А. Н. Потресовым, а затем и с П. Б. Струве о сожженном марксистском сборнике и т. д.; я был участником этих разговоров; она называет в связи с этим меня в недавно напечатанном письме к Г. В.: почему-то после упоминания обо мне (по имени и отчеству) в напечатанном тексте стоит возпросительный знак. И впоследствии В. И. поддерживала очень хорошие личные отношения со мной и с моей женой; я очень сожалею, что не сохранилась ее очень продолжительная переписка с нами из Цюриха и уже из Петербурга. В 1901 г. в Мюнхене она примирила «Nedow'a» с Г. В., неоднократно бывавшими у меня в Мюнхене.

²⁾ Формально я никогда членом партии не состоял, если не считать «дозаннской группы», самое существование которой я категорически отрицал.

существенное, и предположение, что народовольческий «Vademecum по Плеханову», о котором он только что слышал, содержательней. Ответ на вопрос о конкретных проявлениях активности технологов я отложил до возвращения Веры Ивановны, вышедшей за покупками. Г. В. одобрил попытки вызвать дискуссию об его точке зрения. Когда вернулась В. И., я сказал, что технологи меня к рабочим не вводили. Упоминание о делаемых мною в Петербурге по их заказу переводах с немецкого вызвало недоумение: как же это люди получают немецкую социал-демократическую литературу, но не имеют русской. Он выразил предположение, что мне не приходилось встречаться в Петербурге с активными социал-демократами. Я констатировал, что относительно активности технологи заслуживают всяческих похвал; но когда я упомянул о выражении рабочими сочувствия Шелгунову, Г. В. резко порицал, что марксисты допустили это выражение сочувствия со стороны рабочих «либеральному публицисту»: марксистам следовало бы отговаривать рабочих от таких выступлений, способствующих затемнению классово-рабочей точки зрения. Он смягчился, только услышав, что Шелгунов когда-то упоминал о «Положении рабочего класса в Англии». Он спросил, что же еще сделали технологи, и, услышав о маевке 1891 г., воскликнул: «Быть не может! Кто-то что-то об этом в Цюрихе рассказывал; но, если бы эта маевка в самом деле состоялась, мы здесь точно были бы осведомлены о ней».

Я стал прощаться; но Вера Ивановна упомянула, что она слышала от туземного населения о моем купаньи в Арве и что, пожалуй, и первомайская демонстрация 1891 г. не вымысел. Она пожелала узнать подробности и спросила, говорю ли я как очевидец, или со слов других. Я, обращаясь уже к ней, рассказал и о той части демонстрации, в которой я лично участвовал, о чтении резолюции и речах с лодок на взморье, и о той, о которой я слышал от непосредственных участников.

Они взяли с меня слово заглядывать в Морнэ почаще и дали несколько поручений к Розалии Марковне в Женеву.

Розалия Марковна всегда производила на меня впечатление самоотверженной труженицы, сознательно жертвовавшей возможностью проявлять свой незаурядный талант, чтобы посвящать себя заботам о «Жорже» и о детях. В редкие для нее минуты отдыха она обнаруживала тонкую наблюдательность, своеобразный юмор и изящный вкус. Я обязан ей не только моральной поддержкой в очень тяжелые для меня дни, но и медицинской помощью: она приводила меня в чувство при обмороках, промывала часто открывавшиеся у меня огнестрельные раны на голове и т. д.

Когда я опять посетил недели через две морнэйских оптельников, они предложили мне поселиться поближе к ним, находя, что — в конспиративном отношении — это, в сущности, безопаснее, чем частые поездки взад и вперед. Я прожил в Морнэ недели три, пока не нахлынули дачники, а осенью из Монтрэ и зимой из Лозанны я часто приезжал или приходил к ним.

От разговоров на философские темы я сначала воздерживался, утверждая, что я почти ничего не читал, но Г. В. представил мне, во-первых, мое письмо в Берлин, в котором химикам, желавшим ориентироваться в *Vorgeschichte* понятий: атом, молекула, элемент, сила, энергия..., давался ряд указаний на важнейшее в философской литературе относительно этого; во-вторых, он показал мне совершенно забытое мною письмо к нему от 1889 г., и только тогда для меня выяснилось, с кем я тогда переписывался.

За это время Г. В. осведомился «в разных местах» о маевке 1891 г.; выразил готовность напечатать и мои слова, сказанные с лодки, но согласился, что существенное значение имеют только речи рабочих. Показался в Швейцарии и сам Р. Э. Классон, о чем Р. М. Плеханова со всеми онерами изложила в комментариях к напечатанным ею показаниям Р. Э. Классона, в которых он амикошонствовал с жандармами — излагал — не понимаю для чего — им, что я «бывал в Морнэ от нечего делать» и т. д.

Тогда Р. Э. Классон был недоволен, что я не сумел или не захотел «подготовить почву для внушения эмигрантам надлежащих мыслей». Я очень часто встречал его в Лозанне и несколько раз в Морнэ, уклоняясь от присутствия на конкретно-деловых разговорах между ним и Плехановым. Впоследствии я слышал от Мотовиловых (род-

ственниц супруги Р. Э. Классона, у которых я давал уроки, которые потом передал Н. Н. Слепцовой-Винярской), что Р. Э. Классон неоднократно и детально писал из Женевы и ее окрестностей своей супруге, жившей в Лозанне, излагая в подробностях и не стесняясь в выборе выражений, что именно он слышал и кого он встречал в МORNÉ, а затем эти письма, привезенные супругою Классона в Петербург, были обнаружены жандармами на случайном обыске, так что Классон не мог отрицать, что он встречался у Плеханова со мною и с Шуйловым (Классенем). Но этому как будто противоречит то, что, с одной стороны, Классон, долго ведший со мною конспиративную переписку уже из Петербурга, настойчиво рекомендовал мне соблюдать сугубо осторожность в письмах к нему. С другой стороны, в мае 1893 г. он настойчиво звал меня из Лондона в Лозанну (он жил в Лозанне в моей комнате), а затем в июле 1893 г. он сообщил мне, что их группа постановила «валить на заграничников все, что можно»... В мае 1894 г. Л. В. Миловидова-Гудрявская передала мне от имени Р. Э. Классона предостережение в Россию в ближайшем будущем не являться, так как он был вынужден дать обо мне какие-то показания.

В 1892 г. и весной 1893 г. Г. В. относился к мысли помещать что-либо в русских легальных журналах чрезвычайно скептически; мне едва удалось убедить его в конце 1893 г. послать через меня небольшую статью в «Северный Вестник»; отсюда последовал отказ, мотивированный тем, что редакция не уверена, сумеет ли автор статьи ответить на неминуемые реплики Михайловского и других задетых писателей¹⁾.

Тогда (в конце 1892 и в начале 1893 гг.) Г. В. Плеханов находил, что из попыток формулировать и обосновать марксистские тезисы в русской легальной печати по существу дела ничего путного выйти не может, потому что в этой области теория и политические приложения настолько неразрывно связаны друг с другом, что, если бы даже и удалось что-либо напечатать легально, неизбежен ряд недоразумений, за которые — ввиду легальных недомолвок — придется расплачиваться путаницей в представлениях местных деятелей-интеллигентов, в подготовке кадров которых он усматривал свою очередную задачу.

Впоследствии А. Н. Потресову стоило не малых усилий побудить Плеханова практически отказаться от этой точки зрения на легальный марксизм; да и то Г. В. Плеханов продолжал убеждать и его, и П. Б. Струве поскорее перенести центр литературной деятельности за границу. Он злорадовался по поводу конфискации марксистского сборника, признавая именно статью «Тулина» наглядным доказательством невозможности легально высказать по существу нелегальные мысли.

Об этом он со мною очень часто говорил, выражая намерение использовать меня при отстаиваемом им расширении рамок заграничной печати.

Летом и осенью 1892 г. я часто видался с Л. И. Аксельрод; она была активной участницей дискуссий и довершала для меня курс политической пропедевтики, обнаруживая при этом свойственную ей основательность. Когда я, проведший детство в «русском Манчестере», Клинцах, уверял, что не нуждаюсь в подробных доказательствах существования в России капиталистической эксплуатации фабричных рабочих, Л. И. была непреклонна, и меня не минул ни один из аргументов, применявшихся тогда при обращении неопитов; зато я до пресыщения узнал и контр-аргументы; все стадии обращения были предусмотрены: я выражал согласие, но раздавалось: нет, стойте... противники возражают то-то и то-то; а им следует процитировать то-то и то-то... И меня потянуло от этой схоластики «на простор широкий»... в Лондон.

¹⁾ Недавно я читал где-то, что эта попытка напечатать небольшую статью в «Северном Вестнике» и отказ редакции с вышеприведенной формулировкой относятся к 1893 г., т.-е. что она была произведена не на заре легального марксизма, а в эпоху, когда... уже давно «из-за границы Бельтов прикатил».

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

- А. Деборин.** — Спинозизм и марксизм. (К 250-й годовщине смерти Спинозы.) 3
Д. Рязанов. — Маркс и Энгельс о браке и семье 13

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

- К. Маркс.** — Письма об Индии. С предисловием Д. Рязанова 36
Э. Гумбель. — О математических рукописях К. Маркса. (Сообщение) 56

ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ

- Б. Николаевский.** — К истории петербургской социал-демократической группы «стариков» (Сообщение) 61
А. Воден. — На заре «легального марксизма» (Из воспоминаний) 67
М. Бакунин. — Письма к графине Е. В. Салиас. С предисловием Ю. Стеклова. 83

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

- I. Диалектический материализм (иностранная литература) 99
II. Естествознание и марксизм 106
III. Политическая экономия и история экономической мысли 114
IV. Марксизм и право 126
V. История социализма 129
VI. Великая французская революция 139
VII. История революционных движений в России 143

СООБЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ ИНСТИТУТА

- Работы Жан-Поля Марата и литература о нем в кабинете истории Франции 152

278
Истор. кабинет

М 14020

ИНСТИТУТ К.МАРКСА И Ф.ЭНГЕЛЬСА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОБДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА



IV

1 9 2 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

V-86

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

(ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА)



IV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1927 * ЛЕНИНГРАД

Дом Плеханова™
№ 274

А. ВОДЕН

НА ЗАРЕ «ЛЕГАЛЬНОГО МАРКСИЗМА» ¹⁾

(из воспоминаний)

III

Поручения, с которыми Г. Р. Плеханов направил меня к Энгельсу. — Степняк. —
П. А. Кропоткин. — Энгельс.

К середине марта 1893 г. я заработал (уроками математики в Лозанне) столько денег, что мог осуществить свою давнюю мечту пожить в Лондоне. У меня была и вполне определенная цель: работа по истории английской философии, которую целесообразнее всего было окончить в Британском музее.

Когда я попросил Г. В. Плеханова дать мне рекомендации, — и притом не только к лондонским русским, — он предложил мне дать письма не только к Степняку и Бернштейну, но и к самому Энгельсу.

Поблагодарив за оказываемую мне честь, я попросил указаний, как мне лучше всего подготовиться к разговорам с Энгельсом; но Г. В. Плеханов немедленно приступил к экзамен *rigorousum* по философии истории Маркса и по философии истории Гегеля; по субъективистам-народникам, настаивая на непридирчивом и сжатом изложении; по второму тому «Каштала», когда ассистентка — Вера Ивановна — возопила, что следует дать мне передышку; по Прудону (без пользования «*Misère de la Philosophie*»); наконец, по Фейербаху, Бауэру, Шtirнеру, Тюбингенской школе, Штраусу и, как десерт, по всему Гегелю, причем выяснились некоторые разногласия в понимании отношения «Феноменологии» к «Логике». Вера Ивановна присутствовала на этом «всенощном бдении»; она приписала Георгию Валентиновичу намерение установить такую программу-минимум для русских марксистов вообще; но Г. В. считал это для тогдашнего времени утопией и по отношению к товарищам, имевшим в виду литературную деятельность. Г. В. считал хорошим предзнаменованием, что я невольно переходил на немецкий язык; я выразил сомнение, чтобы на русском языке кто-либо когда-либо мыслил философски; но Вера Ивановна опровергла меня ироническим указанием не только на украинского мудреца Сковороду, но и на Флеровского-Берви.

На следующий день Г. В. Плеханов дал мне письмо к Энгельсу ²⁾ и напутствовал в путь-дорогу. Я настойчиво советовал Георгию Валентиновичу немедленно подготовить почву напечатанием в «*Neue Zeit*» резкой по существу, сжатой и сдержанной по тону статьи, в которой резюмировалась бы суть конфликта с народниками-субъективистами. Я считал очень существенным, во-первых, чтобы эта статья, появившись во время моего пребывания в Лондоне, поставила Энгельса лицом к лицу с фактом начавшейся полемики и побудила его высказаться; во-вторых, я имел

¹⁾ См. «Летописи марксизма» № III.

²⁾ Г. В. Плеханов не сообщил мне, что именно он писал Энгельсу, так что я прочел это письмо только тогда, когда оно было показано мне в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса за несколько дней до его напечатания в журнале «Под знаменем марксизма».

основания ожидать, что кто-нибудь из русских марксистов заденет русских народников-суб'ективистов в немецкой печати, а тогда я предпочитал, чтобы это сделал именно Г. В. Плеханов, и притом сразу по существу; я уверял его, что такая статья немедленно распространилась бы в России и в оригинале, и во множестве переводов и оказалась бы ферментом, что о ней был бы прочитан ряд рефератов в Петербурге... Г. В. Плеханов утверждает, что не стоит обращать внимания европейских читателей на русских народников-суб'ективистов. В этом нежелании Г. В. Плеханова во-время ясно и определенно взять на себя инициативу принципиального выступления против народничества в научном органе европейской социал-демократии я усматривал — и продолжал усматривать — главную причину того, что не только мне, но и самому Плеханову при его свиданиях с Энгельсом во время Международного цюрихского конгресса и затем в Лондоне не удалось убедить Энгельса принципиально выступить против русских народников-суб'ективистов или хотя бы по конкретному поводу определенно высказаться против них в печати: ведь если сам Г. В. Плеханов не считал стоящим по существу дела ориентировать читателей «Neue Zeit» о своих методологических разногласиях с народниками-суб'ективистами, то и Энгельс, с своей стороны, мог счесть не стоящим вмешаться в перебранку между русскими.

Кроме того, Г. В. Плеханов просил меня сделать для него в Британском музее побольше выписок из «Heilige Familie». Мне он дал ряд чрезвычайно ценных советов относительно целесообразнейшего моего пребывания в Лондоне.

В Лондоне я прежде всего очутился без денег: у меня вытащили кошелек, когда я, выйдя с Victoria Station, отдыхал в Гайд-Парке. Это принудило меня сразу явиться в бюро Free Russia, где я застал В. Черкезова, который был так любезен, что помог мне найти дешевую комнату и даже кредит. Деньги мне немедленно выслали в долг из Парижа, а затем из России.

Врученное мне запечатанным письмо Г. В. Плеханова к Энгельсу я отправила в тот же день, прибавив от себя просьбу указать, если он считает возможным, когда я мог бы его видеть с наименьшим ущербом для его занятий. Я писал по-английски; Энгельс отвечал и писал свои дальнейшие письма¹⁾ по-английски же.

В ожидании ответа от Энгельса я побывал у Степняка; он дал мне рекомендацию в Британский музей; впоследствии, когда я получил возможность прожить в Лондоне четыре года (1896—1900 гг.), меня рекомендовала Элеонора Маркс-Эвелинг, а после ее смерти билет для входа в читальный зал возобновлялся автоматически, хотя я и предлагал новую рекомендацию.

Степняк проявил глубокий интерес к деталям жизни Г. В. Плеханова и В. И. Засулич. Он просил меня поддержать его давнюю просьбу, чтобы Георгий Валентинович совсем переселился в Англию; он находил, что Женева и ее окрестности для Г. В. Плеханова вреднее русской каторги, что можно было бы жить и не в самом Лондоне, а на острове Уайте, который Маркс предпочитал в климатическом отношении Алжиру; что в Лондоне Г. В. Плеханов нашел бы несравненно более подходящую арену для своих организаторских талантов; что он был бы там очень полезен против влияния П. А. Кропоткина; что сам он присмотрелся бы к конкретному массовому рабочему движению...

¹⁾ К сожалению, я был вынужден счесть эти письма Энгельса ко мне в Париже осенью 1893 г., когда меня — за несколько минут до появления агентов — предупредили об обыске. Этот обыск был вызван, по всей вероятности, тем, что как раз перед этим я получил из Лондона на свое имя от Free Russia большую посылку, вызвавшую к себе интерес французских чиновников, и притом не только таможенных, хотя я и констатировал, что присланные издания — преимущественно 1870-х годов — представляют только антикварный, а не актуальный интерес. Обыскивавшие агенты грозили мне высылкой за находившиеся у меня монографии по истории Великой французской революции и нашли предосудительным пошение мною синих очков, придающих «нигилистическое выражение» моей физиономии. Я потребовал указания на закон, который воспрещал бы во Франции изучение основных фактов французской истории, а относительно цвета очков пригласил гг. агентов сопровождать меня в глазную клинику для выяснения вопроса, чьими указаниями мне следует в данном случае руководствоваться.

В. Черкезов передал мне приглашение от П. А. Кропоткина.

П. А. Кропоткин осведомился, не желание ли избежать воинской повинности побудило меня эмигрировать. Я констатировал, что я не эмигрант, что мой белый билет находится у черниговского губернатора, что я уехал из России, чтобы восстановить здоровье, поучиться, а главное, чтобы познать в свободных, относительно свободных, странах. П. А. Кропоткин сказал, что в таком случае он не понимает, почему же мне не быть последовательным и не примкнуть к анархистам... Я констатировал, что анархистом я стать не могу, так как государственность считаю не только неустранимой, но и необходимой на долгие времена, а для России признаю необходимым переход земли к крестьянам в общегосударственном масштабе и всеобщее обязательное образование... П. А. Кропоткин утверждал, что анархизм следует понимать не как догматическую доктрину, а как душу живую рабочего движения, мешающую окостенению, изумляется наивности, выражающейся в предположении, что социал-демократы — немецкие и иные — верят в осуществимость своих программ и когда-либо обнаружат склонность эти свои программы в самом деле начать осуществлять...

Относительно Г. В. Плеханова П. А. Кропоткин утверждал, что высоко ставит его талант при всем различии мнений; он выражал свое искреннее убеждение в том, что мелкотравчатость женеvской среды, а главное воскуриваемые в этой среде Г. В. Плеханову фимитамы отравляют Г. В. Плеханова, заранее делая его неспособным к серьезной борьбе не в искусственной атмосфере, и сознавался, что ему лично было бы очень желательно иметь Г. В. Плеханова своим оппонентом в Лондоне. Переходя к «Гегелианской диалектике в ее отношении к теории эволюции», П. А. Кропоткин — я должен констатировать это при всем различии точек зрения — обнаружил не только редкую у не-специалистов и разностороннюю эрудицию, но и еще более редкое даже у писавших на эти темы умение разбираться в оттенках неокантианства и в постановке вопросов теории познания, живой интерес к методологическим вопросам и незаурядный диалектический талант, к сожалению извращаемый доктринерством.

За три месяца (от конца марта до начала июля 1893 г.), которые мне тогда удалось провести в Лондоне, я побывал у Энгельса — всякий раз по его особому (устному или письменному) приглашению — не менее десяти раз. Я должен констатировать, что мало с кем я чувствовал себя все время от первого визита до прощания так просто и естественно, как с Энгельсом. Дорогой я придумывал обороты речи, подыскивал наиболее подходящие конструкции; но все это оказалось совершенно излишним: обаяние его, как собеседника, не мешало мне чувствовать себя в его присутствии самим собой, а не объектом извращений моих мыслей, производимых — без всякой надобности, просто из любви к искусству — как виртуозами в этом деле, упоминаемыми в I и II главах этих воспоминаний, так и их последователями, усвоившими себе если не их знания и талантливость, то во всяком случае вышеуказанную виртуозность. Поэтому, говоря с Энгельсом, я имел редкое счастье: можно было думать не о том, какую именно ересь или бессмыслицу соблаговолит навязать мне собеседник, а о самом предмете. Это сразу само собой установилось. Почувствовав, что в разговорах с Энгельсом в самом деле можно и должно *lasciare ogni sospetto*, так как с ним я абсолютно гарантирован от попыток сделать вид, что мою аргументацию можно подвести под заранее заготовленную этикетку, к чему сводятся — столь «плодотворные» для выяснения вопросов по существу — типичные русские дискуссии, я перестал «mit den Worten kämpfen». По причинам самоочевидным я предпочитал слушать Энгельса; но говорить приходилось и мне, и не только отрывочными фразами, а и периодами: мне не только пришлось резюмировать марксистскую и народнические точки зрения на ряд теоретических программных вопросов; но Энгельс допустил меня к рукописям Маркса, лишь удостоверившись, — не «экзаменом», как Плеханов, а в непринужденном разговоре, — что я способен интересоваться деталями истории немецкой мысли. Кроме того, Энгельс многим интересовался о России: не только экономикой, а и идеологиями: что именно и как читают из Маркса

в России, какова обычная подготовка читателей «Капитала»¹⁾, кого читают из утилитаристов, выражал интерес к провинциальным и столичным разновидностям русского либерализма, к конкретным формам толстовства, к народнической беллетристике и к русской литературной критике, классических представителей которой он в самом деле высоко ставил.

В своем — очень приветливом — первом письме Энгельс сообщил мне, что ждет меня к себе в любой из ближайших дней вечером. Когда я явился к нему в первый раз, он прежде всего познакомил меня со своим огромным котом и стал расспрашивать о Плеханове, о Вере Ивановне, о Лаврове, о котором отзывался с добродушной пронией. Он выразил высокое мнение о таланте Плеханова («не ниже Лафарга или даже Лассаля») и осведомился о его литературных планах; признал целесообразными и работы по истории французского материализма, и статьи о русской народнической беллетристике. Затем он выразил свое убеждение, что для русских социал-демократов необходимо всего серьезно заняться аграрным вопросом в России; что эта область исследований обещает по существу новые результаты, существенные и для истории форм землевладения и землепользования, и для применения — и проверки — экономической теории, особенно учения о дифференциальной ренте, при освещении огромного материала. Он упомянул, что ждет со дня на день труда своего уважаемого русского корреспондента Даниельсона, но при всем уважении к нему не думает, что его книга окажется исчерпывающею вопросом. Энгельс упомянул, что он считает чрезвычайно желательным, чтобы именно Плеханов занялся этим основным для России вопросом, и притом именно в серьезном исследовании, а не в полемических статьях. Я хотел тут же передать пожелание Плеханова, но появился Бернштейн, немедленно пригласивший меня зайти к себе. Я собирался удалиться, но был удержан на ужин, во время которого Энгельс рассказывал эпизоды из до-мартовского периода и из 1848 года. Прощаясь, Энгельс предложил мне продолжить разговор об аграрном вопросе в России в ближайшем будущем, обещав уведомить, когда ему удастся выполнить неотложнейшую задачу: написать несколько писем.

В следующий раз он прямо спросил меня, не дал ли мне Плеханов к нему определенных поручений? Я передал пожелания Плеханова²⁾, представив дело так, что Плеханов вынужден защищаться и защищать от извращений со стороны народников основные положения марксизма и практические выводы из них. Энгельс с улыбкой процитировал по поводу жалоб Плеханова на полемику против него: «*Quis tulerit Gracchos de seditione querentes*»? и даже добавил по-русски: «Кто Плеханова обидит, не обидит ли всякого сам Плеханов?» Я уверял, что Плеханов на меня производит впечатление кроткого агнца, ведомого на заклание; к тому же дело идет о весьма небезразличных в практическом отношении выводах из того или иного взгляда на экономическое развитие России в ближайшем будущем... Энгельс выразил предположение, что полемика с народовольцами могла бы вестись не столь резко, но что он, конечно, не компетентен судить о реальном содержании, скрывающемся за русскими партийными лозунгами. Я поспешил констатировать, что народовольцы негодуют на Плеханова в сущности за речь на Парижском международном конгрессе и за пронципальность, проявленную им по отношению к Тихомирову; Энгельс сказал, что речь на Парижском конгрессе и ему, и многим товарищам понравилась, но выразил убеждение, что отождествлять Тихомирова с народовольцами — хотя бы

¹⁾ Энгельс не считал целесообразным начинать изучение политической экономии с «Капитала», так как Маркс имел в виду читателей, имеющих некоторую подготовку. О популярных изложениях «Капитала» отзывался неодобрительно.

²⁾ Разговоры происходили преимущественно на немецком языке; феноменальная добросовестность мышления Энгельса проявлялась между прочим в том, что в своих записках ко мне Энгельс иногда спешил делать поправки, если, наведя точнейшие справки, обнаруживал, что в предыдущем разговоре неточно цитировал. Например, приписав Ткачеву по существу бакунистские мысли, Энгельс поспешил написать мне, что, раздобыв первоисточники у Мендельсона, он убедился, что смешал того и другого *Konfusionsrat*; помню, что он употребил это немецкое обозначение в английском письме.

с Г. Лопатиным — нельзя. От меня Энгельс пожелал услышать сжатое резюме точки зрения народников. Я — по совету Г. В. Плеханова — начал с В. В. Энгельс выразил сомнение, можно ли — без полемических преувеличений — выводить за одни скобки с В. В. не только активных народовольцев, но и его корреспондента Даниельсона, предложив мне воздержаться от суждения об этом экономисте до прочтения его труда, экземпляр которого обещал дать. Я упомянул, что идеализация отживших форм, держащихся благодаря круговой поруке, мешает выяснить реальные перспективы разрешения аграрного вопроса в России. Энгельс спросил, жил ли я в деревне и где, а затем выразил мнение, что, может быть, некоторые иллюзии относительно будущего неизбежны для борцов. Я упомянул, что ведь идеализация «трудового хозяйства», артелей, разных видов домашней промышленности препятствует ясной постановке вопросов, связанных с неоглобной повседневной борьбой против эксплуатации многочисленных жертв домашней индустрии. Энгельс заинтересовался конкретными данными и скоро признал, что, раз народники в самом деле идеализируют домашнюю индустрию, против этого бороться не только можно, но и должно; но что это, вероятно, можно в значительной степени делать и в цензурных рамках, по конкретным поводам, выясняя что следует на местах.

Затем Энгельс чрезвычайно удивил меня своим скептическим отношением к перспективам развития русской промышленности. Терпеливо выслушав то, что на моем месте, вероятно, сказал бы всякий русский марксист 1890-х годов на эту тему, Энгельс выразил — очень серьезно — свое убеждение, что, если бы, чего он не желает, очень не жалеет, ни для России, ни для Германии — война надолго отрезала Россию от ввоза из-за границы, то вам, русским, горьким опытом пришлось бы убедиться, что своими силами вы долго еще не сможете обойтись в производстве почти всех товаров. Я недоумевал, что слышу это от него. Энгельс пояснил, что вовсе не отрицает ни наличия капитализма в отдельных районах, ни неизбежности его дальнейшего развития, и что этого достаточно для конкретного обоснования социал-демократической программы, что он, конечно, приветствует выступления русских рабочих и уверен, что они сыграют решающую роль при свержении самодержавия; но что это его убеждение вряд ли нуждается в повторении, так как оно вытекает из точки зрения, проводимой Марксом и им во всех их произведениях, так что никаких сомнений относительно этого ни у кого, сколько-нибудь знакомого с этими произведениями, быть не может. Я заметил, что Плеханову несомненно будет особенно приятно услышать именно это, так как народники отрицают целесообразность пропаганды между рабочими. Энгельс усомнился в возможности этого, так как должны же они понимать, что административно высылаемые рабочие — лучшие пропагандисты и агитаторы в деревне, но заметил, что эти тактические вопросы следовало бы предоставлять решать товарищам на местах. Затем Энгельс сказал, что ему известно, что многие русские считают его немецким шовинистом, славянофобом, но что следовало бы понимать, что дело вовсе не в желании увековечить экономическую зависимость России от Германии, а в том, что, по его, Энгельса, убеждению — а он думал над этим вопросом — внешние рынки для сбыта продуктов русской промышленности надолго малодоступны, а внутренний рынок расширится при переходе помещичьих земель к крестьянам, что это — основной вопрос будущего России; что русский социал-демократ, достойный этого имени, обязан уметь обосновать, — и притом не цитатами из Маркса, а продумав вопрос, как это сделал бы Маркс, — программу экспроприации земель, прежде всего помещичьих, так как иначе неизбежен стихийный захват и разгром имений, вопрос же с выкупом или без выкупа фактически будет — каковы бы ни были программы — разрешен в зависимости от реального соотношения сил. А что дальше будет, зависит главным образом от успехов рабочего движения на Западе к тому времени.

Затем Энгельс сказал, что ждет от меня «обычного» вопроса о смысле письма Маркса в «Отечественные записки» и недоумевает, что же в этом письме неясного, так как Маркс совершенно ясно высказал свое и его, Энгельса, убеждение в важности совпадения достижения власти социал-демократией на Западе с политической

и аграрной революцией в России. А кроме того Энгельс желал бы, чтобы русские — да и не только русские — не подбирали цитат из Маркса и его, Энгельса, а мыслили бы так, как мыслил бы Маркс на их месте, и что только в этом смысле слово «марксист» имеет *raison d'être*. Относительно же шансов совпадения достижения западно-европейской социал-демократией власти и аграрно-политической революции в России он (Энгельс) должен признаться, что именно этот вопрос его всего более тревожит, а именно: осуществится ли то и другое без европейской войны? Вот вопрос вопросов всемирной истории. От его разрешения зависит прежде всего: сумеет ли, т. е. сможет ли, немецкая социал-демократия как следует использовать достижение ею власти, что произойдет в том случае, если власть достанется ей не в результате европейской войны; а в противном случае Энгельс не может без ужаса думать, что ждет и западную социал-демократию, и Россию, хотя и уверен, что политического господства буржуазии в Германии нельзя представить себе. В следующий раз Энгельс попросил меня сжато резюмировать методические разногласия между Плехановым и народниками. Он поморщился при упоминании о «субъективном методе в общественных науках», Лаврова разрешил не излагать, сближение дарвинизма с оперетками Оффенбаха и еще кое-что из Михайловского признал не лишенным остроумия, но когда я воспроизвел плехановские отзывы о трудах Н. И. Кареева, Энгельс подвел меня к одному из книжных шкапов, показал экземпляр диссертации Кареева о крестьянском вопросе во Франции, полученный Марксом от автора, сказал, что и Маркс, и он лично признали этот труд очень добросовестным и «*keine bahnbrechende Leistung*» и посоветовал мне — да и Плеханову — принять это к сведению, какова бы ни была неясность почтенного историка в принципиальных и даже методологических вопросах. Я был вынужден признать, что Энгельс прав, и сделал соответствующие выводы. Энгельс сказал, что он с интересом прочитал бы «*sachliche*» (по существу) возражения против народников-субъективистов в «*Neue Zeit*», но что по этому поводу он не считает стоящим выступать; комментировать письмо Маркса в «Отечественные записки» считает совершенно излишним ввиду самоочевидности смысла этого письма для всякого непредубежденного читателя и недостаточности какого бы то ни было комментария для читателей предубежденных: комментарий вызвал бы новые разногласия, стороны опять апеллировали бы к нему же и т. д.

В следующий раз зашла речь о ранних произведениях Маркса и Энгельса. Сперва Энгельс очень смутился, когда я выразил интерес к этим ранним произведениям, и упомянул, что ведь и Маркс писал в студенческие годы стихи, но что эти стихи вряд ли могут кого-либо заинтересовать¹⁾... Затем он спросил, какие именно ранние произведения Маркса и его интересуют Г. В. Плеханова и его единомышленников и чем собственно вызван этот интерес? Неужели недостаточно отрывка о Фейербахе, по его, Энгельса, мнению, наиболее содержательного из этого «старья»?

Я привел все эти аргументы Г. В. Плеханова в пользу наискорейшего издания всего философского наследия Маркса и их совместных трудов. Энгельс сказал, что он не раз слышал об этом от некоторых немцев, серьезности интереса которых к этому «старью» он не имеет никакого основания не доверять, но что он предлагает мне дать ему искренний ответ на вопрос, что важнее: чтобы он, Энгельс, затратил остаток жизни на издание заброшенных ими рукописей, имеющих отношение к публицистам 1840-х годов, теперь ни для кого, кроме специалистов, в сущности не интересных, или чтобы он, по выходе III тома «Капитала», занялся изданием рукописей Маркса по истории теорий прибавочной стоимости? Я молчал, а он резюмировал мне вкратце содержание этих рукописей Маркса (IV тома «Капитала»). Затем он выразил интерес: кого преимущественно читают в России из философов, кроме «модных философов» вроде Шопенгауэра? Когда я упомянул о неокантианцах, он

¹⁾ Когда я давал Г. В. Плеханову подробный отчет о разговорах Энгельса со мною, он объяснил это непонятное для меня смущение Энгельса его предположением, что речь идет об его поэтических произведениях, которые будто бы грозил раскопать кто-то из немцев.

спросил меня, читал ли я Рилля, каково мое мнение о Когене и Наторпе? Когда я упомянул о насмешках Рилля над натурфилософией Гегеля, он оживился и прочел блестящую лекцию по натурфилософии, выясняя, какое богатое содержание кроется под неуклюжими и вычурными формулировками. Я воспользовался моментом, казавшимся наиболее благоприятным для того, чтобы побудить Энгельса все же извлечь из незаслуженного забвения хотя бы существеннейшее из ранних работ Маркса, так как одного «Фейербаха» мало. Энгельс сказал, что для того, чтобы в самом деле взглянуть в эту старую историю, нужно заинтересоваться самим Гегелем, а им теперь не интересуется ни один человек, точнее говоря, «ни Каутский, ни Бернштейн».

Затем Энгельс рассказал о личных отношениях с братьями Бауэрами; о «Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel»... отозвался пренебрежительно¹⁾.

В следующие дни Энгельс приглашал меня являться с утра и, вооружив лупой, предоставил читать одну за другой рукописи Маркса: «Святого Макса», более подробную критику философии права Гегеля, части немецких идеологий²⁾.

Потом Энгельс признался, что, оставляя меня одного над манускриптами с лупой и заходя иногда, он предполагал, что найдет меня спящим над рукописями, или, что если я симулировал интерес, то буду достаточно наказан скукой и не выдержу и сбегу. Однако он находил меня занятым чтением рукописей, переписанных более четко, или расшифрованным почерком Маркса, по достоинству оцененного еще трирским преподавателем латинского языка, и оказывал помощь в этом и тогда для меня не легком занятии. Сначала я очень стеснялся занимать время изумительно деликатного человека, но я не мог не видеть, что Энгельс оживлялся, вспоминая дела давно минувших дней... К «Heilige Familie» он дал устные пояснения, которые разрешил передать Г. В. Плеханову. Разрешил он и резюмировать «Святого Макса» без цитирования чего бы то ни было на память. На дом он давал мне — к негодованию В. Черкезова и П. А. Кропоткина — номера «Deutsche Jahrbücher» и «Deutsch-Französische Jahrbücher».

Когда я констатировал поразительное сходство некоторых взглядов «свободных» и «критических критиков» с идеологией русских субъективистов, Энгельс объяснял это сходство не бессознательным воспроизведением немецких до-мартовских идеологий русской интеллигенцией, а главным образом непосредственным усвоением этих идеологий Лавровым и даже еще Бакуниным.

Когда я собрался уезжать из Лондона, я получил в ответ на свое прощальное письмо к Энгельсу любезное приглашение еще раз зайти к нему. Тогдашний разговор особенно запечатлелся в моей памяти. Спросив, интересуюсь ли я историей греческой философии, Энгельс предложил изложить мне первое философское произведение Маркса и — без рукописи, но очень подробно — изложил содержание докторской диссертации Маркса, цитируя наизусть, не только Лукреция и Цицерона, но и множество греческих текстов (из Диогена Лаэртского, Секста Эмпирика, Климентя). Затем Энгельс обратил мое внимание на то, что и во взгляде Эпикура на причинную связь, обычно истолковываемом как отсутствие у Эпикура желания вызвать в своих последователях стремление в самом деле *rerum cognoscere causas*, можно, при всей наивности и неуклюжести первоначальных формулировок, усматривать призыв к разностороннему исследованию причинных связей, лишь бы они не противоречили основному постулату. И Энгельс выразил недоумение, почему продолжают удовлетворяться историей материализма Ланге, не сумевшего указать на существеннейшее даже в точке зрения Канта.

¹⁾ В 1895 г. Г. В. Плеханов убеждал П. Б. Струве способствовать выходу русского перевода этого остроумного памфлета. Тогда П. Б. Струве перечитал его со мной почти целиком. Читал он гегельянские конструкции очень выразительно, несравненно лучше меня.

²⁾ Страницы, относящиеся к Бруно Бауэру, Энгельс тогда же отложил для себя, желая перечитать их в связи с занимавшей его тогда мыслью написать более подробный обзор критики первоисточников истории раннего христианства после Бауэра. Для меня он считал достаточным сказанное о Бауэре в «Heilige Familie».

На мой вопрос: был ли Маркс когда-либо гегельянцем в собственном смысле слова, Энгельс ответил, что именно диссертация о различии между Демокритом и Эпикуром дает возможность установить, что в самом начале своей литературной деятельности Маркс, в совершенстве усвоив себе гегелевский диалектический метод и еще не будучи вынужден ходом своих занятий заменить его материалистическим диалектическим методом, уже обнаруживает полную самостоятельность от Гегеля¹⁾ в самом применении гегелевской диалектики, и притом именно в той сфере, где Гегель, несомненно, всего сильнее: в истории мышления. Гегель дает не реконструкцию имманентной диалектики системы Эпикура, а ряд пренебрежительных отзывов об этой системе, а Маркс дал именно реконструкцию имманентной диалектики эпикуреизма, которого он вовсе не идеализировал, выяснив малосодержательность его по сравнению с системой Аристотеля. Энгельс детально выяснил мне глубокое различие в этом отношении между сразу обнаружившим такую самостоятельность по отношению к Гегелю Марксом и не эманципировавшимся от ученического отношения к Гегелю Лассалем.

Философию Энгельс определял как учение о мышлении, утверждая, что все остальное представляет лишь исторический интерес и давно уж является каким-то пережитком. От попыток выразить суть марксизма в терминах рилевского критицизма Энгельс не ждал ничего хорошего...

Энгельс упомянул, что Маркс имел в виду продолжать заниматься историей греческой философии и даже впоследствии беседовал с ним на эти темы, не обнаруживая при этом одностороннего предпочтения по отношению к материалистическим системам, но останавливаясь преимущественно на диалектике у Платона, Аристотеля и из философов нового времени — у Лейбница, Канта.

На прощанье Энгельс вручил мне экземпляр «Очерков» Н. — она²⁾. При этом Энгельс упомянул, что сам он еще не имел времени как следует прочесть это исследование, но заранее ждет обращений к нему по этому поводу от Плеханова и т. д. Выразив свое неизменное намерение соблюдать нейтралитет в этом и вообще аналогичных случаях, Энгельс высказал откровенно, что он руководится не только теми соображениями, которые он обыкновенно приводит, мотивируя свой отказ вмешательством.

Энгельс просил меня передать Плеханову, что он не одобряет стремления без крайней надобности обострять конфликт с революционными народниками, что он (Энгельс) не может симпатизировать намерению поскорее добиться осуществления в России противопоставления: здесь — правоверные марксисты, там — только оттенками различающаяся «реакционная» масса, считая такое предельное противопоставление политически нецелесообразным для России в 1893 г. Я был вынужден констатировать, что такие соображения вряд ли подействуют на Плеханова и тем более на непосредственно провоцируемых народниками социал-демократов в России; привел образчики народнических «возражений». Энгельс спросил, как относится сам Плеханов к вопросу о диктатуре пролетариата. Я был вынужден признать, что мне Г. В. Плеханов неоднократно выражал свое убеждение, что, конечно, когда «мы» будем у власти, никому кроме «нас» никаких свобод «мы» не предоставим...

¹⁾ Г. В. Плеханов находил, что мне следовало бы, когда Энгельс заговорил о материалистах Демокрите и Эпикуре, перевести разговор на «более интересных» французских материалистов XVIII века. Я констатировал, что не мог отказать себе в наслаждении услышать от Энгельса изложение первой философской работы Маркса. Должен сознаться, что именно этому разговору с Энгельсом (я отставал традиционный взгляд на основании известных мне тогда первоисточников и литературы предмета) я обязан возрождением во мне серьезного интереса к греческой философии. Энгельс выразил, между прочим, желание, чтобы я установил и сообщил ему, проводится ли в литературе предмета точка зрения, сколько-нибудь приближающаяся к взгляду Маркса.

²⁾ Впоследствии некоторые товарищи (Гинцбург-Кольцов и другие) говорили мне, что я должен был бы поспешить Н. — она перед Энгельсом изболтчить; но ведь Н. — она я прочел уже в Лозанне, где и читал о нем — на французском языке — рефераты; кроме того, я а priori полагал, что Энгельс способен оценить аргументацию Н. — она не только лучше меня, но и не хуже Гинцбурга-Кольцова.

но что для того, чтобы в России для социал-демократов имело смысл в самом деле стремиться к захвату власти, по его (Плеханова) мнению, конечно, чрезвычайно желательно, чтобы русские социал-демократы могли использовать опыт немецких товарищей. А на мой вопрос, кого следует разуметь точнее под монополистами свобод, Плеханов ответил: рабочий класс, возглавляемый товарищами, правильно понимающими учение Маркса и делающими из этого учения правильные выводы. А на мой вопрос: в чем заключается объективный критерий правильности понимания учения Маркса и правильности вытекающих из него практических выводов, Г. В. Плеханов ограничился указанием, что все это, «кажется, достаточно ясно» изложено в его (Плеханова) сочинениях. Осведомившись, мог ли я лично в самом деле удовлетвориться столь объективным критерием, Энгельс выразил предположение, что применение такого рода критериев может или привести к обращению русской социал-демократии в секту с нежелательными и весьма нежелательными практическими последствиями этого, или вызвать в русской социал-демократии или, по крайней мере, среди русских заграничных социал-демократов ряд расколов, от которых может не поздоровиться и самому Плеханову. Затем Энгельс упомянул, что за последнее время и до него доходят слухи о все учащающихся трениях между Плехановым и другими русскими заграничными социал-демократами, вызывающих серьезные опасения за будущность русской партии. Энгельс сказал, что он не считает возможным меня об этом расспрашивать, так как я, вероятно, счел бы своим долгом солидаризироваться с лидером, каковы бы ни были мои личные впечатления. Я констатировал, что я мало видал русских в Швейцарии и в Париже, но что, по словам Плеханова, дело идет о том, что от него требуют, чтобы он писал только элементарнейшие брошюры.

Тогда Энгельс сказал, что Плеханов представляется ему русским аналогом Гайдмана¹⁾. А затем, по мнению Энгельса, целесообразнее было бы, если бы Плеханов отстаивал свои взгляды так, как он делал это в «Социализме и политической борьбе», воздерживаясь от полемических преувеличений. Я упомянул, что Плеханов неоднократно ссылался на образ действий Маркса и Энгельса в аналогичных случаях, но Энгельс утверждал, что Маркс и он прибегали к беспощадной полемике, только исчерпав все способы кроткого увещания: например, с Виллихом и Шаппером, с Лассалем и с Бакунистами, с Мостом; указал на аналогичный образ действий с «Молодыми». Энгельс говорил, что он вовсе не против полемики вообще, но он считал бы для русских чрезвычайно важным, чтобы они воздерживались от пользования отравленным оружием, а, в частности, от выдавания возможной в будущем эволюции направлений за непосредственную актуальность.

В частности он (Энгельс) не только не одобряет выдавания всех народников за реакционеров, но ставит на вид, что он лично не только ничего не имеет против предполагаемого сотрудничества Эвелингов в петербургском органе народников, но и сам сотрудничал бы в этом органе, если бы это допустила цензура. В заключение Энгельс сказал, что он надеется, что скоро в самой России выдвинутся энергичные вожди, что вообще из-за границы руководить политическим движением невозможно, что он лично воздерживается от вмешательства во «внутренние дела» немецкой социал-демократии, хотя и не одобряет кое-чего в «Vorwärts» и т. д.

Плеханову Энгельс поручил мне передать дружеский совет: заняться главным образом достойными его научными трудами, особенно по аграрному вопросу, но не в форме полемики, а по существу. При этом Энгельс упомянул, что русские вообще очень обидчивы и что, например, Степняк, которого он не смешивает с его entourage, перестал бывать у него из-за пустячного недоразумения.

1) Г. В. Плеханов принял эту характеристику, — которую Энгельс разрешил мне ему передать, когда я поставил на вид, что ведь Плеханов заинтересуется отзывами Энгельса о нем и вряд ли удовлетворится похвалами его литературному таланту, — за комплимент: ведь Гайдман отстаивает неизбежность марксизма. Но у Энгельса сравнение политического деятеля с лидером социал-демократической федерации не было комплиментом. Наоборот, в сравнении с Лассалем Г. В. Плеханов не усматривал ничего для себя лестного.

На прощанье Энгельс пожелал мне в моей научной и литературной деятельности не торопиться печатанием своих работ и всегда иметь в запасе больше аргументов, чем непосредственно приводимые. Я констатировал, что избранная мною, как основная специальность, история логики по существу исключает возможность иного отношения к делу.

Я привел только существеннейшее из того, что мне говорил Энгельс. У него — особенно за ужином — я встречал его обычных собеседников (и собутыльников) и приезжавших в Лондон деятелей... Особенно запечатлелась в моей памяти ночь первого мая 1893 г. Уехал я — с Мендельсоном — от Энгельса уже на рассвете; Maitrunk был восхитителен. Пели Марсельезу — классическую, французскую; в Лондоне, в устах вождей международного социализма, этот гимн звучал иначе, чем в тогдашней Франции. А когда я, как-то безотчетно, стал напевать: «Wohlan, wer Recht und Wahrheit achtet...», Энгельс шепнул мне: «Зачем вы бормочете эту лассальянскую подделку?», и предъявил мою вышеупомянутую рукопись..., удовлетворившись, однако, моим объяснением ее происхождения.

